

П. А. Клубков

ЗАМЕТКИ О РИТОРИЧЕСКОЙ ПОДСИСТЕМЕ ЯЗЫКА

I

Тот факт, что язык выполняет в человеческом обществе множество разных функций, осознан философией и лингвистикой очень давно. Многообразии целей, которые может преследовать речевая деятельность, вполне сопоставимо с многообразием целей человеческой деятельности вообще. В соответствии с этими целями речевая деятельность может подвергаться оптимизации. Так, шпион, передающий в центр радиограмму, преследует, по крайней мере, три цели: 1) передать имеющуюся у него информацию, 2) исключить возможность ее перехвата, 3) избежать ареста. Это значит, что сообщение должно быть полным и внятным (1), зашифрованным (2) и кратким (3).

Риторика изначально представляет собой учение о прагматической оптимизации речевой деятельности и систему правил такой оптимизации. Иначе говоря, риторика призвана научить нас строить свои высказывания таким образом, чтобы они были результативными, чтобы наша речь оказывала эффективное воздействие на слушателей. Именно этот аспект риторики (использование языка как средства воздействия) выдвигается на первый план в современных концепциях, претендующих на преемственность по отношению к многовековой риторической традиции.

Известно, однако, что в истории риторики уже в классической древности появился и еще один ценностный ориентир: риторика строилась и как учение об эстетической оптимизации речевой деятельности, как учение о красноречии (азиатская риторическая традиция) (М. Гаспаров 1994: 12–13). Именно такое понимание риторики по преимуществу представлено в истории русской культуры, что очевидным образом связано с неразвитостью демократических институтов. Во всяком случае, трудно найти в нашей истории вплоть до эпохи Великих реформ 1860-х годов тексты, которые можно было бы безоговорочно отнести к памятникам судебного или политического красноречия (две ветви риторики, наиболее отчетливо связанные с прагматикой). Даже такой бесспорный случай прагматически ориентированного текста, как «Моление Дании-

ла Заточника», существует в истории русской письменной культуры независимо от целей, которые преследовал автор (мы так и не знаем, оказалось ли «моление» успешным). По-своему знаменателен и тот факт, что в первой «Риторике» Ломоносова (1743) за перечислением традиционных «родов слова» («указательного, советовательного и судебного») следует такое замечание: «Сей последний род слова [судебный] в нынешние веки больше не употребляется, для того и в правилах риторических об нем мало пишут, чему и я последую, а особливо для того, что он включен в двух первых родах» (Ломоносов 1952: 24).

Античная традиция выделяла три рода красноречия в зависимости от внешних условий, в которых протекает процесс порождения речи. Советательное (политическое) и судебное красноречие связано с прагматической установкой, а эпидейктическое (торжественное, «показательное») — с эстетической. С точки зрения механизмов оптимизации речи, о которых, собственно, и должна идти речь в руководствах по риторике, судебное красноречие не противостоит политическому. Именно поэтому «об нем мало пишут». Что же касается меры его употребительности, то здесь дело исключительно в том, как организована судебная система. Введение в нее соревновательного начала с неизбежностью восстанавливает судебное красноречие в правах.

II

Церковное красноречие традиционно рассматривалось вне этой схемы. Лишь в ранней протестантской традиции к трем родам добавляется назидательное (учительное) красноречие, под которым понимается искусство проповеди, гомилетика (сам термин «гомилетика» получил распространение лишь в XVIII веке). Идея рассматривать церковное красноречие в одном ряду с прочими родами риторики была абсолютно чужда как православной, так и католической традиции. Между тем в первой русской риторике, приписывавшейся Макарию, мы находим четырехчленную схему, включающую в себя «роды научающий, судебный, рассуждающий, показующий». Строго говоря, одного этого было достаточно для того, чтобы предположить протестантский источник текста «Макария». Действительно, как выяснилось, этим источником была риторика Меланхтона, одного из вождей Реформации в Германии (Lachmann 1980; Аннушкин 1984; 1985). Неслучаен поэтому и тот факт, что в позднейших русских руководствах по риторике мы нигде больше не находим четырехчленной схемы родов красноречия. Литургическая проповедь строилась в соответствии с принципами азианского эпидейктического красноречия.

При этом ограниченность предписанных традицией средств, их психологическая недостаточность осознавалась русским духовенством. Более того, за пределами собственно литургической проповеди (например, в пастырских беседах) вполне могли использоваться и

неузуальные риторические средства. Характерный эпизод приводит Лесков в пятнадцатой главе «Мелочей архиерейской жизни». В этой главе рассказывается о том, как генерал-майор В. В. Яшвиль, возмущенный неубедительными самооправданиями полкового командира, «заорал»: «Вздор говорить изволите!.. Что это еще за манера друг на друга ссылаться-я-я!.. Полковой командир должен быть за все в ответе-е-е!.. Вы развраты этикие затеаете-е-е-е!.. По-о-лковой командир на эскадронных!.. А эскадронные станут на взводных. А... взво-одные на вахмистров, а вахмистры на солдат... А солдат-ты на господа бога!.. А господь бог скажет: “Врете вы, мерзавцы, — я вам не конюх, чтобы ваших лошадей выезжать: сами выезжайте!”» Один из офицеров полка счел необходимым донести об этой генеральской речи архиерею. Для нас существенна совершенно неожиданная реакция архиерея на пересказ вольной генеральской речи: «Видите, как прекрасно! И как после этого не сожалеть, что духовное ораторство у нас не так свободно, как военное! Почему же мы не можем говорить так вразумительно? Отчего бы на текст “просящему дай” так же кратко не сказать слушателям: “Не говори, алчная душа, что “бог подаст”. Бог тебе не ключник и не ларешник, а сам подавай...” Поверьте, это многим было бы более понятно, чем риторическое пустословие, которого никто и слушать не хочет» (Лесков 1957: 527–528).

«Риторическое пустословие» — речь, построенная в соответствии с жестко заданной инструкцией. Критическое отношение к такой речи связано с осознанием несоответствия инструкции тем целям, которые стоят перед говорящим, несоответствия азиатских риторических приемов целям проповеди, норм старой эпидейктической риторики новой церковной реальности.

Столь же отрицательное отношение к названной традиции прослеживается и у наших современников. Само распространение этого направления обычно описывается в выражениях, ярко свидетельствующих о том, «за какую команду болеет» автор: «Широко распахиваются ворота для эпигонов азиатского красноречия, и краснота выражения отныне становится высшим мериллом, а позднее и самоцелью риторической практики» (Авеличев 1986: 5).

Такая оценка представляется в некоторой степени антиисторичной. В ней, по сути дела, нарушается важнейший принцип историографии интеллектуального развития человечества, который может быть сформулирован простодушной, но принципиально неопровержимой максимой: «Предки были не глупее нас». (Между прочим, из моральных соображений было бы естественным отрицательное отношение скорее к софистической риторике, способной, по утверждению ее адептов, придать силу слабым аргументам, убедить поступать так, как выгодно оратору, а не так, как того требует разумное отношение к ситуации.)

К тому же представление об азиатском красноречии и о соответствующей последующей риторической традиции как о своего рода искусстве для искусства вряд ли можно принимать всерьез. Эстетическая оптимизация текста, перенося акцент с убедительности на красоту, все же имела своей конечной целью не услаждение слуха, а нечто другое.

III

Легко заметить, что совокупность риторических средств широко используется в текстах самого разного жанра и природы. Это явление можно обозначить как экспансию риторических приемов за пределы собственно риторических жанров. Сама возможность такой экспансии показывает нам, что функциональное определение риторики не исчерпывает объема соответствующего понятия. Не менее важным оказывается и содержание соответствующей сферы культуры. «Убедить» можно и кнутом, и пряником, но ни кнут, ни пряник не могут рассматриваться в качестве элементов риторики. «Усладить слух» можно, например, музыкой. С точки зрения ее внутреннего содержания риторика представляет собой учение об использовании существующей в рамках культурной традиции системы клише, то есть воспроизводимых речевых построений разной степени конкретности. Если обратиться к многовековой риторической традиции, то мы обнаружим, что в своей технической части риторика представляет собой учение о «заметных» языковых средствах: тропы, фигуры, общие места являются, собственно говоря, типами клише, использование которых санкционируется традицией и регулируется известной совокупностью правил.

В этом смысле можно говорить о риторической подсистеме языка, которая располагает своим словарем (инвентарь клише) и своей грамматикой (правила использования клише). Эта подсистема, будучи осознана впервые на материале ораторской речи, функционирует все же во всех типах культурных текстов. Механизмы риторики, выработанные ею средства выразительности используются даже при полном отсутствии риторического (прагматического) пафоса, далеко за пределами собственно риторических жанров.

Если, например, обратиться к области практического знания, к науке, то можно из общих соображений предположить, что в соответствующих текстах риторический элемент может выполнять разве что орнаментальную функцию. Там, где можно доказать (в математическом смысле слова), не имеет смысла убеждать. Риторика — искусство доказывать (= убеждать) в условиях отсутствия строгих доказательств (в отличие от диалектики). Между тем в любом учебном тексте мы обнаруживаем полный набор риторических средств, а функция их оказывается не столько орнаментальной, сколько адаптационной. Доказательство (особенно в учебной литературе) должно быть доступно

адресату. Текст должен быть прочитан и понят, а это предполагает оптимизацию в соответствии с этой частной целью.

Адаптация предполагает специальное внимание к языковым способам преподнесения информации. Риторические приемы играют роль сладкой оболочки, позволяющей без гримасы отвращения принять горькое лекарство.

IV

В XVIII веке соответствующим образом был осмыслен и тот тип эстетической оптимизации текста, который характерен для поэзии. Представление о том, что эстетически организованная речь (поэзия, риторика) должна помогать нам усвоить мысли, опирается на длительную историческую традицию. В конечном счете оно восходит к мнемонической функции упорядоченной речи. Ср.: «Кто и шутя, и скоро пожелаеть пи узнать число, ужъ знаетъ» (мнемоническая формула для запоминания числа «пи»). Поэзия (и «красная речь» вообще) позволяет «шутя и скоро» узнать то, что обладает культурной ценностью.

Интересно, однако, что Татищев в первой половине XVIII века отнес красноречие к числу полезных наук (наряду с письмом, иностранными языками, историей, химией и пр.), а поэзию — к щегольским наукам (наравне с музыкой, танцами, вольтижированием и т. п.) (Татищев 1979: 91–92). Лишь постепенно устанавливается новый взгляд. Если в первой «Риторике» Ломоносова поэзия не включается в собственно риторiku (которая «учит сочинять слова прозаические»), выводится за ее рамки (хотя поэтические примеры и используются в качестве иллюстраций), то во второй (1765) — составляет ее полноправную ветвь наряду с «ораторией».

Сущность риторического взгляда на поэзию идеальным образом сформулирована в известных стихах Державина:

*Ты здраво о заслугах мыслишь,
Достойным воздаешь ты честь;
Пророком ты того не числишь,
Кто только рифмы может плести.
А что сия ума забава —
Калифов добрых честь и слава,
Снисходишь ты на лирный лад:
Поэзия тебе любезна,
Приятна, сладостна, полезна,
Как летом вкусный лимонад.*

Метафора моделирует ситуацию, замещает один объект другим, в той или иной степени изоморфным. При этом правильное (то есть соответствующее авторской интенции) понимание старой метафоры может оказаться при смене культурных стереотипов затрудненным.

Сравнивая поэзию с лимонадом, Державин ни в малейшей степени не принижал ее. «Летом вкусный лимонад» не только «сладостен», но и «полезен». Он помогает перенести жару, делает жизнь легче, а деятельность эффективнее. Нет ничего более чуждого взгляду Просвещения на язык поэзии, чем идея ее самодостаточной, имманентной ценности.

Для риторической поэзии, как и для риторической прозы, характерна внетекстовая интенция, наличие своего рода задания (в частном случае заказа). В поэзии XIX–XX веков умение писать стихи на любую тему рассматривается как некий ремесленный навык, который необходим, но недостаточен, для того, чтобы считаться поэтом. Пушкинское стихотворение «Прозаик и поэт» представляет собой ироническое переосмысление риторической установки:

*О чем, прозаик, ты хлопчешь?
Давай мне мысль какую хочешь:
Ее с конца я завострю,
Летучей рифмой оперю,
Вложу на тетиву тугую,
Послушный лук согну в дугу,
А там пошлю наудалую,
И горе нашему врагу!*

«Пошлю наудалую» — формулировка воинствующе антириторичная. «Поэзия, прости Господи, должна быть глуповата». И хотя риторичность, вполне в духе XVIII века, еще не раз впоследствии становилась нормой стихотворства, она, однако, так или иначе была уже вне поэзии. Ср., между прочим, отзыв Чернышевского (в письме сыновьям от 8 марта 1878 года) о поэзии Фета: «...вы знаете стихотворение:

*Шелест, робкое дыханье,
Трели соловья, —*

только и помнится мне из целой пьесы. Она вся составлена, как эти два стиха, без глаголов. Автор ее — некто Фет, бывший в свое время известным поэтом. И есть у него пьесы очень миленькие. Только все они такого содержания, что их могла бы написать лошадь, если б выучилась писать стихи, — везде речь идет лишь о впечатлениях и желаниях, существующих и у лошадей, как у человека. Я знавал Фета. Он положительно идиот, идиот, каких мало на свете. Но с поэтическим талантом» (Чернышевский 1950: 193). Чрезвычайно характерно не только общее отношение (явно «риторическое») автора отзыва к поэзии, но и использование страдательного причастия «составлена». Стихи *составляются* — только так, в сущности, можно описать процесс порождения текстов из клише (а именно таковы по мнению Чернышевского, «пьесы» Фета). Этот процесс осмысливается как чисто риторический. Смысл поэзии заключается в

придании полезному содержанию приятной формы. При отсутствии полезного содержания приятная форма может лишь раздражать «дельного» человека.

V

Риторiku в самом широком смысле этого слова можно определить как искусство достижения цели языковыми средствами, то есть как совокупность приемов оптимизации речи в соответствии с функцией речи. Если для нас почему-то важно, чтобы речь была как можно более краткой, то к риторике можно отнести аббревиатуры и опущение предлогов. Если мы хотим обидеть собеседника, то риторическими средствами оказываются ругательства. Если хотим продемонстрировать свою причастность к определенному кругу лиц, риторически оправданным может оказаться использование жаргона.

Существенно, что если продукт риторической деятельности расчитан на слушателя (читателя), то риторика как учение строится в расчете на говорящего (пишущего). Имеет смысл вспомнить, что риторика в составе тривиума стоит рядом с грамматикой. Само это соседство свидетельствует о принципиальной сопологаемости соответствующих дисциплин. Отвлекаясь от частных, связанных с различием концептуального и терминологического аппарата грамматики и риторики, можно констатировать тождество предмета при разнонаправленности подхода. Если грамматика (традиционная) принципиально аналитична, то есть моделирует восприятие речи, идет от текста к интерпретации, моделирует деятельность слушателя (или читателя), то риторика синтетична, представляет собой систему порождения текста, моделирует деятельность говорящего.

С этой точки зрения противопоставление грамматики риторике напоминает одну из интерпретаций соотношения двух частей грамматики — морфологии и синтаксиса. О. Есперсен противопоставлял морфологию синтаксису именно на этих основаниях: в морфологии мы идем от формы к значению, в синтаксисе — от значения к форме (Есперсен 1958: 39–46). Заметим, что в старых грамматических руководствах (например, в «Российской грамматике» Ломоносова) синтаксис занимает сугубо периферийное положение, бóльшая часть любого такого руководства посвящена морфологии, а в учебниках риторики современные исследователи находят множество наблюдений и рекомендаций синтаксического свойства. Для второй половины XX века характерны, с одной стороны, рост интереса к моделированию активной речевой деятельности, а с другой — общая переориентация интересов с фонологии и морфологии на синтаксис и семантику. В этом контексте оживление риторики представлялось более чем естественным.

Конец века оказался ознаменован в лингвистике научным кризисом, и этот кризис связан с пересмотром традиционных представлений о со-

отношении воспроизводимых и порождаемых компонентов человеческой речи. Генеративистский экстремизм Хомского породил реакцию столь же крайнюю. «Язык не машина, создающая тексты, а резервуар, их хранящий. Количество текстов, возможных на любом языке, конечно; более того, эти тексты уже существуют где-то. Речь — это просто переход из Памяти в память; из Его памяти — в нашу. Поэтому языку, в общем-то, не нужна грамматика. Грамматика — просто способ немножко уменьшить нагрузку на несовершенную человеческую память; а падежи и причастия выдумал Аристотель» (Плунгян 1999: 55). Про Аристотеля сказано для смеху, и вообще цитируемый текст вряд ли написан абсолютно всерьез, однако соответствующие настроения широко распространены не только среди тех, кто называет себя постмодернистами. Существенно и то, что грамматику в приведенном пассаже репрезентируют морфологические (а не синтаксические) понятия (падежи и причастия).

Менее радикальная «лингвистика языкового существования» (Б. Гаспаров 1996) представляет собой, по сути дела, риторическую концепцию. Она направлена от говорящего к слушателю и имеет дело с риторическими клише («коммуникативными фрагментами»).

Литература

- Авеличев 1986: *Авеличев А. К.* Возвращение риторики // Дюбуа Ж., Пир Ф., Тринон А. и др. *Общая риторика*. М., 1986.
- Аннушкин 1984: *Аннушкин В. И.* Композиция и терминология первой русской «Риторике» // *Риторика и стиль*. М., 1984.
- Аннушкин 1985: *Аннушкин В. И.* Первая русская «Риторика» начала XVII века: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1985.
- Б. Гаспаров 1996: *Гаспаров Б. М.* Язык, память, образ: Лингвистика языкового существования. М., 1996.
- М. Гаспаров 1994: *Гаспаров М. Л.* Цицерон и античная риторика // *Марк Туллий Цицерон. Три трактата об ораторском искусстве*. М., 1994.
- Есперсен 1958: *Есперсен О.* *Философия грамматики*. М., 1958.
- Лесков 1957: *Лесков Н. С.* Мелочи архиерейской жизни // *Собр. соч.* в 11 т. Т. 6. М., 1957.
- Ломоносов 1952: *Ломоносов М. В.* Полн. собр. соч. Т. 7: Труды по филологии. М.; Л., 1952.
- Плунгян 1999: *Плунгян В. А.* О (бес)конечности языка // *Типология и теория языка: От описания к объяснению: К 60-летию А. Е. Кибрика*. М., 1999.
- Татищев 1979: *Татищев В. Н.* Разговор двух приятелей о пользе науки и училищах // *Татищев В. Н. Избранные произведения*. Л., 1979.
- Чернышевский 1950: *Чернышевский Н. Г.* Полн. собр. соч. Т. 15. М., 1950.
- Lachmann 1980: *Lachmann R.* Die Makarie-Rhetoric // *Rhetorica Slavica*. Köln, 1980.